

**ОБЫДЕННОЕ И НАУЧНОЕ
ЗНАНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕ:**

**ВЗАИМОВЛИЯНИЯ
И
РЕКОНФИГУРАЦИИ**



Коллектив авторов

**Обыденное и научное
знание об обществе:
взаимовлияния и реконфигурации**

«Прогресс-Традиция»

2015

УДК 316.
ББК 60.507

Коллектив авторов

Обыденное и научное знание об обществе: взаимовлияния и реконфигурации / Коллектив авторов — «Прогресс-Традиция», 2015

ISBN 978-5-89826-445-1

Коллективная монография обобщает результаты масштабного теоретического и историко-социологического исследования вариативных концептуализаций социального знания в различных дисциплинарных областях социальных наук, осуществленного на основе анализа представительного корпуса классических и современных работ. При подготовке монографии авторы широко использовали объяснительные модели и концептуальные ресурсы социологии знания, теоретической социологии, а также современные методологические подходы когнитивной социальной науки. Представлены первые результаты теоретической экспликации и описания механизмов взаимовлияния обыденного и научного знания об обществе, предложены основания для классификации форм обыденного социального знания, относящихся к базовым концептам социологии. Монография призвана заполнить теоретические лакуны в понимании процессов рефлексивной реконфигурации научного и обыденного знания об обществе. Эти процессы проиллюстрированы на примерах широких дисциплинарных областей – социологии науки и профессий, социальной экологии и биоэтики, социальной эпистемологии, современной социальной теории и концепций анализа folk sociology. Монография ориентирована на ученых и преподавателей, работающих в области общественных и гуманитарных наук, и адресована всем тем, кто интересуется современной социальной теорией.

УДК 316.
ББК 60.507

ISBN 978-5-89826-445-1

© Коллектив авторов, 2015

© Прогресс-Традиция, 2015

Содержание

Предисловие	7
Раздел I	9
Глава 1	9
Социологические теории знания и перспективы исследования «народной социологии»[2]	10
Когнитивная социология: от «забытых» классиков к междисциплинарным исследованиям «народной» науки об обществе	15
Литература	23
Конец ознакомительного фрагмента.	25

**Обыденное и научное знание
об обществе: взаимодействия и
реконфигурации: [монография]
Под редакцией И.Ф. Девятко,
Р.Н. Абрамова, И.В. Катерного**

Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект № 15-03-16025

Утверждено к печати Ученым советом Института социологии РАН Рецензенты: э. соц. н. А.Б. Гофман, д. ист. н. Н.В. Романовский

Ответственные редакторы: И.Ф. Девятко, Р.Н. Абрамов, И.В. Катерный

Авторский коллектив:

Р.Н. Абрамов (гл. 9),

К. Брукмайер (гл. 5),

К.А. Гаврилов (гл. 2; гл. 7 – совместно с И.Ф. Девятко),

И.Ф. Девятко (предисловие, гл. 1; гл. 7 – совместно с К.А. Гавриловым),

А. А. Зотов (гл. 8),

И.В. Катерный (гл. 6), А.А. Кожанов (гл. 10),

Д.Г. Подвойский (гл. 3),

В. В. Сапов (гл. 4)

Предисловие

Обращение к проблематике соотношения обыденного и дисциплинарного знания об обществе, на первый взгляд, имеет частное значение для узкого круга специалистов, изучающих эпистемологию социального познания. Однако вопрос о том, *как соотносятся лежащее в основании повседневной жизни общее знание (т. е. знание, принадлежащее каждому и рефлексивно разделяемое с другими) и специализированное и дисциплинарно организованное научное знание*, стоит в центре не только социологии, но и всей интеллектуальной традиции модерна. Кажущаяся интуитивная ясность понятия обыденного и непосредственно доступного любому, кто способен к здравому суждению, «общего знания», необходимого в том числе для скоординированного социального действия и социального порядка, вплоть до середины XX века успешно маскировала обширную область непростых логико-математических проблем [см., например: 3], однако осмысление фундаментальной, хотя и требующей критического отношения, роли такого знания становится самостоятельной темой уже в философии Просвещения. Так, Томас Рид в «Исследовании человеческого ума на принципах здравого смысла» (1764) высоко оценивал последний не только как источник достоверности, не основанной исключительно на рассудке или, напротив, чувственном восприятии, но также как особый тип знания, который позволяет философу успешно противостоять опасности скептицизма, избегая крайностей радикального эмпиризма или рационализма. Одним из аргументов Рида против скептицизма, сопровождаемого исключительным (и некритичным) упованием на собственный разум, было утверждение, что собственный разум как высшая критическая инстанция не только является таким же произведением Природы (следующим, конечно, замыслу ее Творца), как и свидетельства чувств, но и приобретает нами лишь постепенно, в результате длительного использования благоразумной веры и в свидетельства восприятия, и в слова авторитетных для нас других людей: «Я инстинктивно верил во все, что бы они [родители и учителя] не говорили мне, задолго до того, как я приобрел идею лжи или подумал, что они способны обмануть меня. Впоследствии, поразмыслив, я обнаружил, что они поступали как благородные и честные люди, которые желали мне добра. Я обнаружил, что если бы я не верил тому, что они мне говорили, прежде чем я смог объяснить мою веру, то это было бы немногим лучше, чем положение ребенка, оставленного эльфами взамен похищенного¹. И хотя эта природная доверчивость способствовала тому, что меня иногда обманывали, все же в целом она дает мне бесконечное преимущество. <...> Существует значительно больше сходства, чем обычно признается, между свидетельствами природы, данными при помощи наших внешних чувств, и свидетельствами людей, данными при помощи языка» [2, 290]. По Риду, здравый смысл – это наиболее очевидные заключения, выводимые из наших восприятий и свидетельств других людей при помощи рассудка. При этом «наиболее отдаленные выводы, которые сделаны из наших восприятий посредством разума, составляют то, что мы обычно называем наукой в различных областях природы, – будь то земледелие, медицина, механика или любая область натурфилософии» [там же, 293]. Однако расстояние между и наукой и здравым смыслом обычных людей, следуя Риду, подчас так невелико, «что мы не можем отличить, где последний заканчивается, а первая начинается» [там же].

Столь же отчетливую проблематизацию тесных, пусть и не всегда прозрачных отношений между «здравым пониманием, посредством которого люди ведут себя в обычных делах» [там

¹ Рид, очевидно, полагает, что с точки зрения неприятия окружающими, с которым приходится сталкиваться такому подмышу, и проистекающих отсюда негативных последствий, его положение сходно с положением описанного страницей ранее «мудрого и рационального философа», последовательно проявляющего скептицизм в отношении данных внешних чувств и попадающего в череду предсказуемых неприятностей (разбивающего нос о столб, падающего в канаву и, в итоге, заключаемого в сумасшедший дом).

же] и тем знанием, которое производят не только естественные науки, но и науки о человеке, мы обнаруживаем, пожалуй, лишь в значительно более поздних идеях социальной феноменологии А. Шюца, восходящих, в свою очередь, к идеям Э. Гуссерля о конститутивной природе здравого смысла повседневности, изначально предстающего перед нами как жизненный мир, «мир для всех нас... о котором все могут говорить» [1, 279] и лишь впоследствии охватываемого сетью объективирующих научных концептов. В «Кризисе европейских наук и трансцендентальной феноменологии» Гуссерль пишет: «Обычный опыт, в котором дан жизненный мир, есть последнее основание всякого объективного познания. И коррелятивно: сам этот мир, как (изначально) сущий для нас чисто из опыта, донаучно, уже содержит в своей инвариантной сущностной типике все возможные научные темы» [там же, 300]. Однако ни популярный и породивший множество нетривиальных и подчас спорных интерпретаций проект сугубо дескриптивной социальной феноменологии Шюца, ни, например, более радикальные в некоторых отношениях взгляды Г. Гурвича, полагавшего, что выявляемые с помощью феноменологической редукции глубочайшие уровни/страты социальной реальности оказываются коллективными идеями и ценностями, принадлежащими уже реальности духовной, воздействие которой на наблюдаемые социальные действия и институты и должно изучаться «социологией ноэтического разума» [4, 42–44], не породили устойчивой традиции исследования запутанных отношений между здравым смыслом социальных акторов и знанием, продуцируемым социальными науками.

Некоторые причины, по которым ни упомянутые выше идеи социальной феноменологии, ни классическая социология знания не привели до сих пор к более ясному пониманию отношений между обыденным и научным социальным знанием, а также перспективы становления изучающей их на теоретическом и эмпирическом уровне когнитивной социальной науки обсуждаются в первом разделе данной книги. Второй же раздел посвящен попыткам более пристального рассмотрения роли «народной социологии» и отдельных типов обыденного социального знания в локальных дисциплинарных контекстах: от изучения опирающихся не только на данные науки, но и на обыденные моральные интуиции подходов к рационализации ценностно-когнитивных дилемм смешанной коммуникации в контекстах экологического знания до «гибридной» социальной и рациональной реконструкции истории новой социологии науки и описания возможного метода эмпирического изучения факторов, которые определяют обыденные суждения о вине за непредвиденные последствия социального действия, отсылающего к научным концепциям моральной и правовой ответственности.

Литература

1. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология / Пер. с нем. Д.В. Скляднева. СПб.: «Владимир Даль», 2004.
2. Рид Т. Исследование человеческого ума на принципах здравого смысла / Пер. с англ., предисловие, примечания Ю.Е. Милютин. СПб.: Лаборатория метафизических исследований СПбГУ; Алетейя, 2000.
3. Fagin R., Halpern, J.Y., Moses Y. and Vardi M.Y. Reasoning About Knowledge. Cambridge, MA: MIT Press, 1995.
4. Gurvitch G. Sociology of Law. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 2001 [Originally published in 1942 by Philosophical Library Inc.].

Раздел I

Социальное знание, обыденное и научное: теоретические перспективы и интерпретации

Глава 1

Социальное знание и социальная теория: от социологии знания к когнитивной социологии

Конститутивная роль обыденного социального знания, разделяемого индивидуальными или корпоративными акторами, эксплицированного в исторических нарративах или представленного как неявная модель причинно-следственных связей, принимаемого как само собой разумеющееся или оспариваемого с помощью разных ценностных принципов и режимов аргументации [см., например: 15] – универсальный объяснительный принцип и предельно общая теоретическая рамка для многих эмпирических исследований в социологии. Однако, в отличие от профессионального социально-научного знания, неоднократно служившего предметом критической рефлексии, начиная от классической социологии знания и до современных попыток проанализировать процессы его производства в концептуальных рамках «исследований науки и технологии» [18], природа, механизмы и границы обыденного социального знания нечасто становились автономным фокусом систематического теоретического анализа и направляемого таким анализом эмпирического изучения.

Парадокс «почтительного игнорирования» обыденного знания о социальном мире в качестве самостоятельного предмета исследования может быть разрешен, если социологи, политологи и экономисты, воздерживаясь от прямого постулирования роли «наивного» социального знания, носителями которого выступают социальные акторы, в создании и поддержании социального порядка, перейдут к более эмпирически-ориентированному теоретическому анализу предполагаемых социальных детерминантов и эффектов этого знания. Такой переход, однако, требует не только отказа от спекулятивного проекта основанной на «неформализуемом озарении» относительно «конститутивных смыслов формы жизни» герменевтической науки [45], но и критического пересмотра и уточнения социологических подходов к концептуализации «знания», исходно сложившихся в социологии знания и наследовавших ей интеллектуальных традициях, а также реконструкции и первичной систематизации параллельного направления исследований обыденного социального знания – сравнительно недавно сформировавшихся под влиянием так называемой «когнитивной революции» весьма вариативных подходов к анализу роли ментальных механизмов в детерминации существующего культурного и социального многообразия, определяемых общим термином «когнитивная социология». Предварительному решению очерченных задач и посвящены два последующих раздела данной главы.

Социологические теории знания и перспективы исследования «народной социологии»²

Очерчивая предметное поле социологии знания как имеющей эмпирическое содержание научной дисциплины, кажется естественным исходить из того, что она в принципе может изучать и повседневное, и высокоспециализированное, профессиональное знание. Так, автор одного из аналитических обзоров состояния и перспектив социологии знания, опубликованного два десятилетия назад, отмечает, что «содержательные границы социологии знания могут быть определены и узко, и широко, что либо ограничит ее исследованием специализированного знания, либо расширит ее пределы до изучения основанных на здравом смысле убеждений, формирующих повседневную жизнь» [33, 288]. Этот же автор обращает внимание на связь несколько маргинального положения данной дисциплины внутри социологии с все еще сохраняющейся в ней неопределенностью границ: отсутствие непрерывности исследовательской традиции социологии знания как таковой и непропорциональная роль в последней философской антропологии, в чем-то полезной для собственно социологического анализа знания, но едва ли способной его заменить, отчасти связаны с тем, что приверженцы данной традиции либо исходно склонялись к анализу специализированного знания, которое Х. Куклик, вслед за К. Мангеймом и Г. Зиммелем, именуется «объективной культурой» (относя к последней науку, религию, искусство и политику) либо, подобно П. Бергеру и Т. Лукману, предлагали упразднить саму границу между таким «эзотерическим» знанием и продуктами повседневной культуры [1, 27–32]. Однако если первое (условно – «классическое») решение транспонировало собственную проблематику социологии знания в социологию науки, религии и т. д., лишая первую независимой перспективы, то второе, более радикальное, в отсутствие положительного определения того, что, собственно, следует считать знанием, отменяло саму возможность вычленить предмет исследования социологии знания из «всего того, что считается знанием в обществе» [там же, 30].

В данном разделе мы дадим краткой очерк предпосылок и последствий существующих различий в концептуализации знания в социологии, преимущественно сосредоточившись на тех возможностях, которые последние открывают (или закрывают) для теоретически информированного социологического изучения природы и механизмов обыденного знания об обществе – парадоксальным образом и существующего как само собой разумеющийся объект эмпирических социальных исследований (в частности, исследований общественного мнения, социальных установок и т. д.), который служит своего рода «резервуаром» для описаний обществ и групп, и почти не существующего или игнорируемого в качестве самостоятельного предмета для теоретизирования и построения объяснительных моделей, связывающих разные виды обыденного знания об обществе (дескриптивное знание фактов и социальных классификаций, объяснительное знание, нормативное знание) друг с другом и его предполагаемыми детерминантами и эффектами. В кратком очерке мы, в противоположность стратегии, избранной автором упомянутого выше аналитического обзора, практически не уделим внимания сформировавшейся не без влияния классической социологии знания современной социологии научного знания (за исключением некоторых идей, оказавших влияние на проект социальной эпистемологии и широкие трактовки так называемого «социального конструкционизма»), сосредоточившись на попытке понять, как различные представления о природе и детерминантах обыденного социального знания могут быть использованы, учтены или уточнены в находящейся пока в стадии становления традиции исследований «народной социологии».

² В данном разделе использованы материалы, представленные в опубликованном ранее докладе автора на симпозиуме «Вторые Давыдовские чтения» (Москва, 9-10 октября 2014).

Теории знания в классической социологии исходно содержали не вполне согласованные трактовки социально-исторических факторов, предположительно определяющих содержание сознания и формы мышления: либо реальных форм производственных отношений, гипотетически предопределявших идеологические репрезентации (К. Маркс), либо социальных классификаций, отражавшихся в примитивных классификациях вещей (Э. Дюркгейм, М. Мосс).

Наследовавший этим теориям проект «социологии знания» в версии Мангейма был основан на последовательной попытке помыслить *Seinsverbundenheit* категорий мышления, притязаний на знание и репрезентаций социальной реальности, тогда как *Wissenssociologie* Шел ера, наряду с «реальными факторами», формировавшими культурно-историческую специфичность мышления, допускала влияние внеисторических ценностей и идей на те самые исторические и культурные силы, которые вели к изменениям в мышлении. Эта исходная неоднозначность теоретических представлений об источниках, направлениях и эффектах социальной детерминации знания усугубилась с возникновением опиравшегося на социальную феноменологию Шютца конструктивистского проекта Бергера и Лукмана, который был вдохновлен не столько стремлением обнаружить мангеймовские «реальные факторы» социальной жизни, определяющие категории и содержание сознания, сколько надеждой укоренить в самом сознании формы социального взаимодействия и социальные институты, сделав знание не столько продуктом, сколько источником детерминации «реальности». Формирование сильной программы «социологии научного знания» лишь усугубило проблему подмены изучения каузальных отношений между фактами и убеждениями описанием конститутивных отношений между сознанием и «институционализированными верованиями относительно фактов» [32], распространив изначально противоречивые модели социальной детерминации знания на область естественных и точных наук. Однако попытки сторонников сильной программы заместить философские теории знания, искавшие для научного познания более прочного обоснования, нежели социологический релятивизм, до сих пор скорее препятствовали формированию проекта эмпирически-ориентированной социологии знания, которая обратила бы свое внимание на возможность теоретического моделирования и эмпирического изучения «народной социологии», обыденного знания об обществе, его источников, функций, границ и, в конечном счете, его непростых отношений с самой социологической наукой.

Таким образом, хотя социальный конструкционизм и предложил едва ли не наиболее последовательную на сегодняшний день перспективу анализа обыденного социального знания в различных режимах его функционирования, он не только целенаправленно размыл границу между знаниями, обыденными или «теоретическими», и любыми внутренними репрезентациями или внешними высказываниями, делая нерелевантными вопросы об их соотношении с эмпирическими подтверждениями, способах обоснования и т. п., но и отменил возможность аналитического разведения «знания» и «реальности». Предложенные в качестве практически достаточных определения реальности как «качества, присущего *феноменам* (курсив мой. — *И.Д.*), иметь бытие, независимое от нашей воли и желания (мы не можем от них «отделиться»)), а знания – как «уверенности в том, что феномены являются реальными и обладают специфическими характеристиками» [1, 9] фиксировали своеобразную натуралистскую интерпретацию тождественности ноэзиса и ноэмы и позволяли немедленно сместить задачи социологии знания («неправильно названной дисциплины») в область изучения «социального конструирования реальности» [там же, 31]. Заимствуя у Шютца идею того, что социология знания должна обратить основное внимание на роль, которую играют типизации обыденного мышления в конституировании структур «жизненного мира», Бергер и Лукман предложили сфокусировать внимание на, так сказать, социальных эффектах обыденного знания для мира повседневности, сведя исследования детерминации и механизмов усвоения самого обыденного социального знания к спекулятивной картине интернализации социального мира индивидом в ходе социализации. Еще одной заслуживающей упоминания причиной того, что очерченная этими авто-

рами перспектива социологического исследования «народного» социального знания привела лишь к весьма скромным эмпирическим и теоретическим результатам с точки зрения понимания природы, механизмов и границ последнего, заключалась в следовании сугубо дескриптивной методологии изучения и *Lebenswelt*, и лежащих в его основании данностей обыденного сознания. Последняя, в свою очередь, была предопределена восходящей к Шютцу идеей дескриптивной «социальной феноменологии», которую следует описывать исключительно с позиции «естественной установки» сознания [подробнее об этом см.: 3, 146–149].

Собственно, и поиск «реальных факторов» в исходной мангеймовской версии социологии знания был, на наш взгляд, заведомо обречен на неудачу из-за невозможности зафиксировать их именно как реальные, независимые от определяемых ими социально-политических или иных взглядов, поскольку с точки зрения собственно философского анализа знания взгляды самого Мангейма на соотношение последнего с реальностью вполне можно охарактеризовать в качестве релятивистских. Так, он прямо говорит, что уже в эпоху «до исторического материализма» в возникновении философии сознания мышление приходит к пониманию того, что «...мир как “мир” существует только по отношению к познающему сознанию, и духовная активность субъекта определяет форму, в которой он явлен.... Это первая стадия в исчезновении онтологического догматизма, рассматривающего “мир” как существующий независимо от нас, в устойчивой и определенной форме» [40, 66]. (В опубликованном русском переводе: «Здесь вместо вне нас существующего мира, все более необозримого и распадающегося на бесконечное многообразие, выступает переживание мира, связь которого гарантирована единством субъекта, не принимающего принципы мирового устройства просто как данность, а спонтанно создающего их из глубины своего Я. После того как распалось объективное онтологическое единство мира, была сделана попытка спасти его, отправляясь от субъекта. Образ мира составляет здесь уже некое структурное единство, а не простое многообразие. Здесь существует однозначное соотнесение с субъектом, но не с конкретным субъектом, а с воображаемым “сознанием вообще”... Здесь совершается, наконец, первое разрыхление в противовес устоям онтологического догматизма, для которого “мир” существует как бы пригвожденным, вне зависимости от нас» [10, 62]). Именно невозможность «зафиксировать» реальность, чтобы аналитически сопоставить ее и зависящие от нее, потенциально укорененные в бытии субъективные образы, а не только характерное для многих сторонников тезиса социальной детерминации знания (социального и не только) стремление рассматривать собственную позицию как эпистемически привилегированную и «защищенную» от неправильной детерминации особенностями социального положения, предопределила, на наш взгляд, невозможность последовательно применить предложенный Мангеймом подход к его собственным взглядам – очевидный недостаток рефлексивности, обозначенный К. Гирцем как «парадокс Мангейма» [25, 194–196].

Отметим в связи с этим недооцененный аспект представлений Мангейма о социальной-укорененном и, следовательно, однобоком, неполном и частичном характере социального познания: вне зависимости от того, может ли особое положение интеллигенции обеспечить ей «лучший обзор», идея релятивности убеждений и представлений обыденного социального знания предполагает, что это знание, рассматриваемое с точки зрения своего максимально общего определения, неправильным способом детерминируется лежащими в его основании эмпирическими свидетельствами, *evidence* (т. е. теми самыми социальными, культурными, политическими и т. п. фактами, «бытийными» детерминантами, которые и должны определять содержание пропозиционального знания). Если сформулировать это еще точнее: одни и те же бытийные факты могут правильно или неправильно детерминировать обоснованные убеждения индивида, в зависимости от того, насколько они определяют его позицию, понимаемую как совокупность интересов, заинтересованностей и обязательств и являющуюся, в свою очередь, «подмножеством» этих фактов. Такое «эгоцентрическое смещение» является либо три-

виальным с точки зрения особенностей формирующихся таким образом обоснованных убеждений (поскольку нисходящие влияния установок, внутренних мотивационных состояний и т. п. ведут к стандартным и принципиально обнаружимым ошибкам восприятия), либо связанным с гипотетическим смещением самого способа формирования обоснованных убеждений для некоторых «экзистенциально-значимых» фактов.

Однако подразумеваемая в последнем случае возможность ввести критерий для различения правильных и неправильных способов детерминации социального познания на основе выделения в доступной совокупности релевантных эмпирических данных, связанных или, наоборот, не связанных с социальной позицией субъекта, в свою очередь представленной как подмножество этих данных, кажется казуистической (поскольку выделение субъектом или даже другим таким же детерминированным наблюдателем последнего подмножества зависит от возможности сформулировать такой критерий в качестве не зависящего от указанных фактов и в этом смысле неэмпирического).

В философском анализе знания обе очерченные выше позиции (первая – предполагающая возможность тривиальных и корригируемых перцептивных ошибок, и вторая – постулирующая возможность искажения самого способа формирования убеждений) могли бы быть описаны как форма экстернализма в вопросе обоснования, предполагающего, помимо обоснования знания внешними, неэпистемическими фактами (и не предполагающего, что субъект всегда способен оценить степень обоснованности своего убеждения или обладает прямым доступом к внутренним основаниям своих истинных убеждений), общую надежность познавательного аппарата [22]. Эта точка зрения не исключает натуралистского, в широком смысле, подхода к исследованию формирования обыденного или научного знания, однако не проясняет существенный для социологии знания вопрос о том, следует ли по умолчанию считать знанием лишь истинное убеждение.

В философском анализе знания последнее всегда рассматривается в качестве обоснованного истинного убеждения, а возможные расхождения касаются, прежде всего, природы обоснований его истинности или даже необходимости эпистемического обоснования (для исключения роли «эпистемического везения» в обладании истинными убеждениями). Однако для того чтобы изучать детерминанты и эффекты знания как факты внешнего мира, необходимо в принципе допустить (как, по сути, допускает и Мангейм) возможность «неправильных» причинных цепочек, в частности, ведущих от фактов о «социальном бытии» людей к их текущим убеждениям или недискурсивным репрезентациям и потенциально включающих в себя опосредующие и смешивающие влияния со стороны других, нерелевантных фактов. Для того чтобы ошибочные убеждения, в текущий момент принимаемые субъектом за истинные, сохраняли свою опровержимость, нужно всего лишь отказаться от идеи «метафизических искажений», принципиально не корригируемых никакими эмпирическими фактами. Существенным условием для такого отказа является уточнение определения знания как истинного убеждения. Подкрепленное эмпирическим свидетельством или просто рациональное с точки зрения оснований убеждение может быть, и во многих случаях оказывается, истинным, однако с точки зрения его эмпирического исследования оно может быть контингентно уязвимо для ошибок или становиться ложным без того, чтобы субъект сразу осознал произошедшие в реальном мире изменения. Интуитивное понимание необходимости такого переопределения понятия «знания», вероятно, является общей базой для попыток радикального отказа от истинности как его атрибута, представленных и в проекте социального конструкционизма, и в центральных тезисах «сильной программы», исходно сформулированных Д. Блуром [14; см. также: 12], отрицающих существование свободных от контекста норм рациональности и ведущих к соответствующим версиям релятивизма.

Менее радикальный и, как представляется, более продуктивный подход к уточнению определения знания воплощен в наследующих классической эпистемологии версиях «соци-

альной эпистемологии», подобных предложенной А. Голдманом, которые изначально нацелены на идентификацию и изучение социальных процессов, практик и паттернов взаимодействия между социальными акторами с точки зрения их каузального воздействия – позитивного или негативного – на производство истинных убеждений [26]. При этом основной исследовательский интерес для регулятивной социальной эпистемологии все же представляет описание таких имеющих высокую «веристическую ценность» социальных практик, которые используются в повседневной жизни, в науке или праве, и ведут к повышению правдоподобия выводов, основанных на априорных оценках и доступных в текущий момент данных, либо позволяют корректировать ложные суждения. Примером таких социальных практик могут служить различные методы агрегирования экспертных мнений, практики разделения когнитивного труда, оптимизирующего шансы получить верный ответ на научный вопрос [30] или поддерживаемая научным сообществом институциональная инфраструктура для сохранения стандартов объективности исследовательских методов [37]. Отметим, что, в отличие от регулятивной социальной эпистемологии, преимущественно дескриптивная и объяснительная социология знания должна интересоваться не только повседневными практиками, обладающими высокой веристической ценностью и ведущими к повышению достоверности повседневного социального знания, но и практиками, механизмами и факторами, вызывающими ошибки и заблуждения, однако для этого вовсе не нужно декларировать отказ от категорий «истинности» и «рациональности». Разумеется, разработка теории истины – не задача социолога, однако нормативное стремление к истинности высказываний или, как ни парадоксально это может звучать, обоснованная некими фактами вера акторов в истинность большей части собственных верований – это необходимые атрибуты социологической концептуализации «знания». Эти атрибуты поддерживают возможность описания свойственного не только ученым или юристам, но обычным людям социально организованного настойчивого интереса к верификации суждений, критической коллективной оценке «притязаний на истинное знание» и эмпирических свидетельств, ярким, хотя и очень частным примером которого может служить обнаруженная исследователями способность детей уже в возрасте четырех-пяти лет уверенно различать типы профессиональной экспертизы (врач, автомеханик и т. п.) и верно атрибутировать лежащие в ее основании научные принципы [38].

Само отсутствие систематической традиции исследования социальных практик и механизмов установления истины, помимо обладающих очень ограниченной ценностью попыток сугубо феноменологического описания «процедур, применяемых при установлении истины-в-кавычках», резко контрастирующее с их повсеместной распространенностью в социальной жизни (от известных каждому практических правил обсуждения врачебных диагнозов с другими врачами и имеющими релевантный опыт пациентами до сложных процедур повседневного коллективного арбитража решений относительно каузальной роли и ответственности индивидуальных и корпоративных акторов за негативные последствия их действий для третьих лиц), связано, на наш взгляд, с тупиковым характером социологических версий эпистемологического релятивизма, подобных обсуждавшимся выше. Как нам представляется, выходом из этого тупика является непретенциозная, но достаточная для серьезного отношения к тому интересу к истинности (а не «истинности-в-кавычках») убеждений, которую обнаруживают не только ученые, но и обычные люди, корпоративные акторы (коллегии, жюри, организации) и институты, социологическая концептуализация знания как обоснованного (в указанном выше экстерналистском смысле) убеждения, в истинности которого убежден его носитель. Это небольшое, на первый взгляд, уточнение, отнюдь не исключающее возможность исследования случаев сознательного или не вполне сознательного искажения и манипулирования высказываемыми убеждениями и прочими доксатическими состояниями, позволяет вернуть социологии знания независимую исследовательскую перспективу и почти утерянный предмет.

Когнитивная социология: от «забытых» классиков к междисциплинарным исследованиям «народной» науки об обществе

В недавней работе С. Тёрнера [47], посвященной анализу исторических предпосылок и перспектив встраивания социологических теорий познания в консолидированную «когнитивную нейронауку», обосновывается следующая точка зрения: социологическая теория XIX в. в лице ее наиболее влиятельных (О. Конт, Э. Дюркгейм, Г. Спенсер), как, впрочем, и сравнительно малоизвестных (Ч. Эллвуд, С. Паттен, Дж. М. Болдуин) представителей, пытаясь объяснить и устойчивые, и вариативные черты социальной жизни, в значительной мере опиралась на когнитивные и менталистские понятия, пусть, возможно, и слишком общие, не вполне проработанные и в ряде случаев не соответствующие современным научным представлениям (как в случае дюркгеймовских объективного коллективного разума и коллективной памяти). Однако последующий отказ от этих идей в пользу психологически сомнительных объяснений, исходящих из неокантианских представлений о «разделяемых предположениях» либо их более поздних концептуальных заменителей, подобных «дискурсу», создал куда более значительные трудности для социологической теории (подробный анализ этих трудностей представлен в книге Тёрнера [см.: 46]; см. также детальный анализ соответствующих проблем для целого класса теорий социального действия в: [3, 289–304]). Понятийная конструкция «дискурса», согласно Тёрнеру, представляет собой дальнейший «уход от ментального»: «Гирц сыграл центральную роль в переупаковке этих <неокантианских “предположений” > в дискурсивные термины (1973), а его последователи и преемники, подобные У. Сьюэллу (2005), повторяют эти лозунги. Однако они не дают себе труд объяснить, каким образом сознание или мозг могут быть “наполнены предположениями” <выражение Гирца> Сходным образом используется психологический язык в предложенном Бурдые объяснении практик, сконструированном в терминах диспозиций при сходном же отсутствии связей между этими терминами и психологически реалистичными механизмами» [47, 358].

Ранние попытки использовать когнитивные понятия и менталистский словарь в социальной теории, подобные концепциям С. Паттена [41] или Ч. Эллвуда [23], как показывает Тёрнер, были надолго забыты академической социологией в силу их связи с подвергавшимися резкой критике, во многом справедливой, идеями классического ассоцианизма, ранних версий эволюционной теории, теории инстинктов или учения о локализации мозговых функций. Так, в частности, попытка Эллвуда построить концепцию, объясняющую причинные механизмы эволюции социальных и культурных институтов и восходящую к дарвиновским идеям культурного отбора, стала жертвой общей критики представителями бихевиоризма психологии инстинктов (У. Макдугал и др.), на которую эта концепция отчасти опиралась в попытке объяснить механизмы, обеспечивающие направленный характер взаимного обучения в группе и передачи поведенческих образцов и культурных навыков от поколения к поколению. Концепция Эллвуда, рассматривающая динамическую природу социального как постоянно возникающего в процессах реципрокного межличностного взаимодействия – «взаимного обучения», во многом опередила свое время и может рассматриваться как предтеча некоторых идей современной социобиологии и эволюционной психологии, однако объясняя селективный характер процессов «взаимообучения» Эллвуд допускал, что направленный и неслучайный характер последних может поддерживаться с помощью эволюционно закрепляемых инстинктов, обуславливающих предрасположенность к усвоению просоциальных норм и социальному научению как таковому.

Идея группового отбора просоциальных культурных норм и образцов поведения первоначально была сформулирована еще Ч. Дарвином в «Происхождении человека» (1871 г.)

[2]. Дарвин осознавал, что жертвенное и альтруистическое поведение может давать репродуктивное преимущество на групповом уровне лишь за счет вымирания индивидуальных носителей альтруистических черт, однако он не располагал такой теорией наследственности, которая позволила бы точнее описать условия, при которых общая динамика репродуктивного успеха группы в этих условиях оставалась бы положительной, невзирая на очевидное «негативное давление» естественного отбора на просоциальных индивидов. Одной из неудачных попыток решения возникающей здесь теоретической проблемы в психологии начала XX в. стала теория инстинктов как сложившейся под действием естественного отбора основы социальной жизни, своего рода двигателей просоциального поведения на индивидуальном уровне.

Теория инстинктов для Эллвуда была неким концептуальным заменителем современных неэволюционных представлений о возможных механизмах культурного отбора, позволявшим решить вполне частную задачу объяснения селективности сохранения норм и образцов в социальной группе, однако этот проблематичный «встроенный модуль» в теоретической конструкции Эллвуда, никак последним не развивавшийся, характерным образом предопределил отсутствие интереса к его взглядам со стороны следующего поколения социологов [47, 363–364].

Развитие современной когнитивной науки и нейрофизиологии, по мнению Тёрнера, открыло перспективу укоренения необходимых причинных механизмов, объясняющих избирательную трансмиссию убеждений, социальных норм и навыков (а также природу миметического институционального изоморфизма, обозначавшегося в классической социологии тардовским термином «подражание»), в более правдоподобных объяснительных моделях, которые опираются на недавние открытия, подобные обнаружению так называемых «зеркальных нейронов» (первоначально – во фронтальных областях коры мозга), предположительно обеспечивающих возможность понимания и имитации целеориентированного действия. Другим примером потенциальной пользы новых нейрофизиологических методов и открытий для социальной теории, к которому обращается в своей статье Тёрнер, является использование функционального магниторезонансного картирования в исследованиях роли тех отделов мозга, которые обеспечивают возможность координации взаимодействия, подобных хвостатому ядру стриопаллидарной системы, вовлеченной в регуляцию научения и эмоциональную оценку поощрений и наград, в процессы оценки соблюдения норм в социальном взаимодействии и в получение удовольствия от наказания нарушителей последних [47, 367–368]. Иными словами, развитие когнитивной нейронауки и поведенческих когнитивных исследований рассматриваются С. Тёрнером как прямой путь к пересмотру и уточнению фундаментальных понятий социальной теории, подобных «действию», «норме», «диспозиции», «убеждению» и др., ведущему к более реалистической и «когнитивно правдоподобной» социологии.

Сходную позицию отстаивает и П. ДиМаджио, отмечая, что опора на идеи, методы и результаты, полученные в когнитивной психологии, позволит заполнить существенные лакуны в фундаментальной социологической теории и придать «спорам об исходных предположениях... более эмпирический характер» [21, 275]. Особую роль результаты когнитивных исследований могут сыграть в разрешении фундаментальных для микросоциологической теории вопросов теории социального действия (*ibid.*), а также, менее очевидным образом, в уточнении популярных в социологии методологических подходов – «помогая нам уяснить те смещения, которые встроены в способы, которыми мы собираем, интерпретируем и воспринимаем наши данные» [*Ibid.*, 276].

К первому из этих тезисов мы вернемся далее, предложив сначала иллюстрацию второго, основанную на нашей собственной более ранней работе [4], в которой обосновывается перспектива более широкого использования методов и результатов когнитивной науки в разработке оригинального социологического подхода к исследованию обыденного сознания и «здорового смысла» социальных акторов, а также выявляются специфические теоретические и методологические трудности, стоящие на пути этого подхода.

Удобной отправной точкой для обсуждения данной иллюстрации может служить предложенная в цитируемой работе ДиМаджио аналитическая схема для классификации основных направлений, в которых сейчас развивается проект когнитивной социологии [21, 274–275, Fig. 15—1]. Одно из измерений классификации образовано достаточно условным противопоставлением «автономной когнитивной социологии» (т. е. проектов, подобных оригинальному социально-конструкционистскому проекту когнитивной социологии Э. Зерубавеля, описывающего как общество, а не человеческая природа (в том числе устройство психики как таковое) предположительно формирует «ментальные ландшафты» и разделяемые образцы мышления, классификационные схемы, а также предопределяет эффекты нисходящих влияний социальных установок и «локальных структур значения» на память и внимание [48]) и, с другой стороны, «когнитивной социологии, базирующейся на когнитивной психологии» и изучающей социальное познание в контексте идей и методов когнитивной науки (например, идеи модулярности психики, т. е. существования достаточно универсальных, врожденных модулей, подобных, например, так наз. имплицитной «наивной теории сознания», необходимой для восприятия интенциональных действий). Другое измерение основано на дихотомии «исследований, фокусирующихся на содержании нашего мышления», в качестве примеров которых ДиМаджио упоминает исследования динамики общественного мнения и процессов формирования информированных суждений и воспоминаний обычных людей о социальных и политических событиях или личностях, либо интерпретации ими смысла социальных отношений, в частности [24; 42], и, с другой стороны, «исследований, фокусирующихся на том, как мы думаем», на формах восприятия и мышления, примером которых, помимо уже упомянутых работ Зерубавеля, служат дюркгеймовские «Элементарные формы религиозной жизни» (1915).

Именно та традиция, которая в описанной классификации может быть отнесена к «автономной» и «фокусирующейся на формах мышления», восходящая, в конечном счете, к Дюркгейму, служит важным источником и ярким примером специфических трудностей, приводящих к тому, что значительный прогресс в понимании роли обыденного причинного знания о мире в когнитивной науке и развитие методов его изучения пока не привели к сопоставимым изменениям в социологическом подходе к исследованию обыденного сознания и «здорового смысла» социальных акторов. В работе [4] приведены примеры потенциально важных для исследований обыденного знания о социальном мире результатов, полученных в последние годы в когнитивной науке, а также представлен анализ того, как стремление к «автономной», т. е. игнорирующей данные других наук, и в то же время формальной, т. е. ориентированной на выявление «исходных предположений» и априорных форм антинатуралистской (т. е. конструкционистской) исследовательской программе когнитивной социологии, консервирует давнее фундаментальное теоретическое предположение, препятствующее увеличению значимости вклада социологии в развитие междисциплинарных исследований «народной социальной науки» и различных форм обыденного социального знания, элементы которого зачастую сами превращаются в защищенные от проверки «исходные предположения» социальной науки.

Под конкретным фундаментальным предположением или, в свете того, что будет сказано далее, теоретическим предрассудком, здесь подразумевается восходящее к Дюркгейму убеждение социологов в том, что абстрактные категории причинности, подобно категориям пространства и времени, находятся «в тесной связи с социальной организацией» и являются не столько фундаментальными понятиями разума или элементами логических операций, сколько коллективными представлениями, генезис которых может быть объяснен только социологически [9]. Иными словами, социологи склонны, вслед за Дюркгеймом, считать, что ментальные категории причинности, пространства, числа, времени и некоторые другие имеют социальное происхождение, т. е. являются социально детерминированными и надындивидуальными коллективными представлениями, которые не столько определяют фундаментальные категории познания (в том числе, повседневного социального познания), сколько сами требуют объяс-

нения посредством социологических категорий и социальных классификаций (отсюда частный тезис о том, что «классификация вещей воспроизводит классификацию людей»). Однако исследования познавательного развития детей и младенцев, особенно интенсивно развивавшиеся в последние десятилетия, позволяют уверенно утверждать, что в своей общей форме это теоретическое предположение неверно (обзор работ, имеющих отношение к дюркгеймовской теории социального происхождения ментальных категорий можно найти, в частности, в работе [13]). Способности несоциализированных младенцев воспринимать пространственную удаленность и глубину были продемонстрированы еще в экспериментальных исследованиях 1960-х гг. Позднее с помощью остроумных методических приемов были получены подтверждения того, что даже новорожденные способны ориентироваться в пространстве и координировать свои ощущения и двигательную активность по направлению к человеческому голосу. Не менее интересны результаты, связанные со способностью не знакомых ни с какими социальными классификациями младенцев различать лица и ориентироваться на количество предъявляемых предметов, однако особенно важны в контексте нашего аргумента эмпирические подтверждения способности полугодовалых младенцев выделять наблюдаемые причинно-следственные отношения и оценивать пропорциональность причинного воздействия и результата [27]. До всякой социализации очень маленькие дети обладают элементарными категориями для восприятия причинности и простых количественных соотношений. Наша врожденная (хотя и поддающаяся развитию) способность выделять причинно-следственные связи на основе наблюдаемых статистических ассоциаций, строить непрофессиональные и не всегда осознаваемые причинные модели, учитывающие возможности множественности эффектов и ложной корреляции, представляет собой существенную объяснительную рамку, которую мы должны использовать в исследованиях социального восприятия, установок и общественного мнения, поскольку значительная часть нашего отношения к социальному миру выводима из нашего повседневного знания о нем. Это подтверждает точность давно предложенной Джорджем Келли метафоры «человека-с-улицы как ученого», основывающего собственные оценки, установки и ожидания на своих хорошо структурированных, эмпирически проверяемых и специфицирующих причинные связи «имплицитных теориях» – социальных, физических, биологических и др. Социальные сравнения, оценки и установки, социетальная реакция обычных людей на разного рода социальные проблемы – от душевных болезней до религиозного экстремизма – в значительной мере определяется таким неявным каузальным знанием. Следовательно, социологам нужно включить в свои объяснительные модели переменные, описывающие это обыденное знание.

Предложенная ДиМаджио типология – удобная отправная точка для обсуждения еще одного важного вопроса. Многие проекты «когнитивной социологии», возникшие на волне «когнитивной революции» 1970—1980-х гг. и последовавшего за ней бурного роста популярности соответствующей терминологии, по сути являлись не чем иным, как реконфигурированным в новых терминах наследием того самого неокантианского проекта социологической реконструкции «исходных предположений» и «ментальностей», который разрабатывался в классической социологии знания и предполагал скорее игнорирование, нежели освоение методов и результатов эмпирически ориентированной когнитивной науки. Последние же, по мнению Тёрнера и других, могли бы использоваться для коррекции ранее не проверявшихся фундаментальных предположений социологической теории³ или при разработке оригинального социологического подхода к эмпирическому исследованию обыденного сознания и «здра-

³ Примером таких «априорных предположений», не всегда выдерживающих прямую проверку, является предположение о прямой связи между убеждениями (beliefs) социальных акторов относительно элементарных социальных фактов, истинными или ложными, и их суждениями относительно того, какими должны быть основанные на этих фактах нормативные решения и действия. Эмпирическая демонстрация спорности этого предположения и тесно с ним связанных расширительных интерпретаций так называемой «теоремы Томаса» содержится, в частности, в нашей статье [6].

вого смысла» социальных акторов, предположительно конституирующих социальный мир. П. Стридом во вводной статье к специальному выпуску «Европейского журнала социальной теории», посвященному перспективам когнитивной социальной науки, отмечает, впрочем, вполне доброжелательно, эту особенность авторов, принадлежащих к первой волне так называемого «когнитивного поворота» в социологии, подобных К. Кнорр-Цетине и А. Сикурелу, С. Фуллеру и другим, которые опирались не только на непосредственных предшественников (П. Бергера и Т. Лукмана, И. Гарфинкеля и др.), но и «на предшествующие давние традиции, такие как дюркгеймианство, герменевтика, феноменология, прагматизм, символический интеракционизм, критическая теория, социология знания и т. д.» [44, 340–341]. Мы, однако, солидаризируемся здесь (и в уже упомянутых более ранних работах) с позицией С. Тёрнера, критикующего эти и другие попытки заместить реальную когнитивную социальную науку отреставрированными версиями спекулятивной социальной теории «ментальностей» и «предположений»⁴.

Собственная попытка классификации «видов когнитивной социальной теории», принятая Стридмом, интересна, тем не менее, некоторыми дополнительными аналитическими измерениями, позволяющими нам уточнить то видение когнитивной социальной науки, которое представлено в описанной выше классификации ДиМаджио. Стридом опирается на введенное в 1990-е Даном Спербером различие «сильного» и «слабого» когнитивизма [43], примерно соответствующее преимущественному интересу к поиску нейронных коррелятов и механизмов и, шире, эволюционно-биологических основ социального поведения либо, наоборот, преобладающей ориентации на эмпирический и теоретический анализ соотношения разных видов повседневного знания и механизмов их задействования в социальных взаимодействиях, осуществляемый с использованием поведенческих методов. В результате Стридом относит к первому, «сильному» когнитивизму позицию С. Тёрнера, формулирующего рассмотренный выше тезис о социологии как когнитивной нейронауке, а также, менее очевидным образом, Н. Лумана, последнего – в силу того, что его версия системной теории в немалой степени была «вдохновлена когнитивной биологией и исследованиями мозга», ко второй же – некоторых континентальных интерпретаторов теории рационального выбора (П. Фаро, Х. Эссер) и Р. Будона, придающих особое значение понятиям убеждений, рассуждений, намерений.

Между двумя описанными позициями, однако, нет противоречия: «слабая» версия когнитивного подхода в социальных науках может (и, в перспективе, должна будет) принимать во внимание «сильные» данные нейрофизиологических исследований, подобные тем, которые приводит в качестве примеров Тёрнер (нейронные корреляты подражания и эмпатии и т. п.). Однако в текущей ситуации нам представляется особенно значимой именно вторая традиция, воплощенная, в частности, в когнитивистской теории моральных чувств, предложенной Р. Будоном [16, 17]. Последняя является одной из немногих попыток построить объяснительную социологическую теорию, описывающую логику принятия «решений о справедливости» обычными людьми. Согласно этой теории, оценивание индивидами справедливости решений или честности обмена является когнитивным процессом, сходным с оценкой истинности утверждений и основанным на сильных (хотя и не всегда осознанных) доводах (strong reasons), включающих в себя и известные социальным акторам факты о социальном мире, и выбираемые ими нормативные принципы. Как пишут Будон и Беттон, «...наша когнитивная теория утверждает, что субъекты чувствуют, что “X – честно” в том случае, если это утверждение воспринимается ими как выводимое из системы доказательств, которую они рассматривают в качестве сильной» [17]. Таким образом, данная теория описывает механизм пере-

⁴ Заметим, однако, что предложенная А. Сикурелом версия этнометодологии, обозначенная в качестве «когнитивной социологии» в вышедшем в 1973 сборнике его статей (заглавие которого практически не эксплицируется в самой книге), по сути, была нацелена скорее на сближение этнометодологических исследований неявных «структур значения» с традиционной социологией и лингвистикой [19].

хода от субъективных убеждений о фактах и уместных в локальном контексте нормативных принципах к нормативному обыденному знанию о дистрибутивной справедливости, т. е. знанию людей-с-улицы о том, как правильно и справедливо распределять блага (или издержки). (Здесь и далее мы будем исходить из того, что «сильные доводы» и основанные на них системы рассуждений могут полностью либо частично осознаваться или не осознаваться индивидами, как и многие другие когнитивные процессы, реализуемые на уровне «бессознательных умозаключений» (Г.Л.Ф. фон Гельмгольц).) Однако данная теория моральных чувств пока представляет собой скорее общую аналитическую рамку, поскольку, за исключением некоторых предположений о принципах обыденного восприятия справедливости на макроуровне, не дает возможности систематически предсказывать нормативные предпочтения для иных контекстов социального взаимодействия. Вместе с тем, будучи дополненной типологией социальных контекстов, избирательно «задействующих» те или иные нормативные принципы справедливости, она открывает принципиальную возможность эмпирической проверки выводимых из нее следствий. Так, ранее мы предложили дополняющую когнитивистскую теорию моральных чувств типологию институциональных контекстов, предположительно позволяющую предсказывать и объяснять, какие именно нормативные принципы будут доминировать при интуитивной оценке обычными людьми дистрибутивной справедливости на микро-, мезо- и макроуровнях социального взаимодействия, продемонстрировав ее объяснительные возможности для вторичного анализа данных, полученных ранее другими исследователями [5], а также косвенно подтвердив ее в поведенческом эксперименте [6].

Таким образом, ключевыми можно считать даже не вопросы «автономного» или «междисциплинарного» характера развития когнитивной социологии либо степени ее опоры на поведенческие или нейрофизиологические данные, а вопрос, формулируемый П. Стридомом как прямой тезис: «Решающим вопросом... остается конкретный способ, которым мы должны использовать когнитивную психологию или, шире, когнитивную науку» [44, 344]. Нам представляется, что ответ на этот вопрос заключается в продвижении проекта междисциплинарной когнитивной социальной науки. Для социологии, как, впрочем, и для философии и этики [см., в частности: 31], движение в этом направлении открывает перспективы уточнения собственных фундаментальных понятий и эмпирической проверки воспринимаемых в качестве аксиом эпистемологических, онтологических или аксиологических предположений. Общей стратегией («способом») такого исследования могло бы стать изучение «наивного» социального знания и закономерностей «народной» социальной науки, а также соотнесение их с теми фундаментальными понятиями и «теоремами» социальных наук, которые предположительно их отражают. С этой точки зрения наиболее очевидным направлением исследований когнитивной социальной науки должно стать использование методов изучения обыденного знания и «народной науки», сложившихся в когнитивной науке, а также уточнение полученных в этой области результатов, применительно к «народной социологии» как совокупности повседневных типизированных понятий, убеждений, объяснительных моделей и нормативных принципов, имеющих, как принято считать, конститутивный статус относительно самого социального мира [11].

В обзорной статье, посвященной статусу «обыденного научного знания», когнитивный психолог Фрэнк Кейл резюмирует результаты исследований так называемых интуитивных теорий, обобщающих обыденные представления о мире [29]. Он говорит о том, что рост интереса когнитивной науки к обыденному знанию человека-с-улицы, характерный для последних двух десятилетий, не позволяет игнорировать уже накопленные убедительные факты, свидетельствующие о том, что «понимание людьми устройства окружающего их мира значительно менее детализировано и менее точно, чем кажется им самим». Как показывают анализируемые Кейлом недавние экспериментальные исследования, объяснительное знание, которым обладают обычные люди, имеет крайне схематизированный характер и часто может быть описано как

очень грубая и неточная интерпретация сложной реальности. Этот «грубый набросок» реальности предполагает возможность заполнения лакун и исправления неточностей лишь через обращение к ситуативно доступной из внешнего источника информации, через отсылку к научному знанию или к общественному разделению когнитивного труда.

Не менее приблизительным и неточным является, во многих случаях, и сугубо описательное обыденное знание, знание «фактов», в том числе и касающихся себя самих и ближайшего окружения. Последнее утверждение кажется более очевидным, чем первое, поскольку подверженность человеческого эмпирического свидетельства разного рода перцептивным и мнемическим ошибкам, то есть ошибкам восприятия и памяти, изучалась достаточно давно, в том числе и классической экспериментальной психологией. Однако в совокупности с упомянутыми недавними исследованиями «народной науки», а также некоторыми принципиально новыми данными о несовершенстве эпизодической биографической памяти, памяти о фактах личной жизни и личном опыте [см., в частности: 36], эти новые данные должны заставить социологов переосмыслить фундаментальное предположение социологической методологии о наличии у акторов привилегированного эпистемического доступа к описательному и объяснительному знанию о себе и о социальном мире, в котором они действуют, в том числе к знанию о причинах собственного поведения и поведения других людей.

Общей платформой междисциплинарных исследований «народной социальной науки», включающей в себя, помимо «народной социологии», наивную теорию права, экономику и т. д., мог бы стать следующий тезис: нам нужно отучиться смотреть на обыденное знание социальных акторов, на наивные «теории сознания» и «теории общества» только как на преимущество и ресурс, используемый социологом-исследователем в качестве «королевского пути» к познанию общества, и научиться смотреть на них как на проблему, прежде всего исследовательскую проблему, но не только. А именно, как на проблему исследования и, зачастую, проблему для исследования и ограничение на наши данные, которое мы должны уметь при необходимости преодолевать.

Попытки классификации «видов когнитивной социологии» отодвигают на второй план куда более существенный с точки зрения систематизации существующих и определения будущих направлений исследования вопрос о классификации типов самого обыденного знания об обществе. Очень предварительная классификация включает в себя следующие критерии (подробнее эти критерии и их основания рассмотрены нами в другой работе):

1) По типу знания:

- объяснительное, дескриптивное, нормативное;
- декларативное (о фактах) или процедурное.

2) По осознанности/развернутости/доступности осознанию: имплицитное; эксплицитное.

3) По предметному содержанию, по «дисциплинам»: пример, нормативное знание о справедливости, о виновности; объяснительное знание о причинах и основаниях интенционального действия, которые могут быть взаимосвязаны [см.: 34; также см.: Глава 7 наст. издания];

4) По источнику формирования (личный опыт, подражание, обучение и т. п.).

5) По типу носителя и/или характеру распределения когнитивного труда (знание, доступное только группе/знание, доступное только индивиду – крайние типы).

6) Локальное, «туземное», «близкое-к-опыту» vs. аутсайдерское, универсальное, «далекое-от-опыта».

7) Знание, становящееся доступным, получаемое или передаваемое в «особые моменты» (ритуалы, праздники) vs. повседневное, передаваемое рутинно, «по запросу».

Как мы отмечали ранее [8], социология привыкла рассматривать интуитивное знание о смыслах социального действия и устройстве социального мира как основу для всякого социального взаимодействия и как высокоинформативный источник интерпретаций общества «с

точки зрения действующих». Этому отчасти способствовало то обстоятельство, что социология не пережила столь фундаментального кризиса методологии интроспекции как способа прямого доступа к субъективному опыту, как менталистская психология первой трети двадцатого века. Указанное обстоятельство отчасти объясняет поразительное отсутствие интереса к систематическому исследованию качества интроспективных данных в социологии, однако развитие когнитивной социальной науки позволит ответить на неудобные вопросы о глубине, точности и надежности «народной социологии» (и описательной, и объяснительной), а также осознать принципиальные ограничения, связанные с использованием разных типов данных, основанных преимущественно на субъективных самоотчетах. Для этого необходимо распространить на социологию идеи и экспериментальные подходы к исследованию «народной науки», которые получили развитие в когнитивной психологии, и, шире, в когнитивной науке. Важно, в частности, уяснить, насколько обычные люди как носители повседневного социального знания подвержены так называемой иллюзии объяснительной глубины, продемонстрированной для «народной физики» и «народной ботаники» [29]. Под иллюзией объяснительной глубины понимается, соответственно, свойственное абсолютному большинству людей (за исключением, возможно, Сократа) субъективное ощущение детального и глубокого понимания окружающего мира, собственно иллюзия, маскирующая очень скудное, поверхностное и неточное объяснительное знание. Не менее существенным кажется и продолжение усилий, направленных на уточнение границ и прояснение механизмов продемонстрированной нами в указанной и других работах «иллюзии осведомленности», проявляющейся в систематической переоценке индивидами меры своей осведомленности относительно элементарных демографических, экономических и т. п. фактов (в некоторых случаях, однако, групповые и, в значительно меньшей мере, повторные индивидуальные прогнозы значения важных социальных переменных демонстрируют удивительную точность [7; 8]).

Характерные для когнитивной психологии идеи и подходы к исследованиям «народной науки» зародились как попытка ответить на простые вопросы: как много (или, если уж на то пошло, как мало) знают обычные люди – в сравнении с учеными, экспертами и специалистами, – о том, как устроены и из чего состоят разные области окружающей реальности, как устроен мир живой и неживой природы, мир человеческого поведения, рукотворный мир техники? И как усваиваются и развиваются такого рода знания в онтогенезе? Результаты многочисленных исследований, проводившихся на детях и взрослых, показывают, что большая часть «народных теорий», т. е. систем объяснительного знания об окружающем мире, являются даже не теориями, а очень примерными объяснительными схемами, которые обладают рядом устойчивых особенностей [29]. В частности, «народная наука», носителями которой являемся все мы как непрофессионалы, часто смешивает наличие внутренних причинных репрезентаций объясняемых явлений (т. е. собственно знаний) со способностью в реальном времени найти нужную информацию в окружении. Кроме того, существуют устойчивые избирательные предпочтения тех или иных типов причинных моделей (т. е. причинных графов), используемых при объяснении живых систем, технических устройств, поведения людей и, вероятно, социальных процессов (последние, впрочем, еще требуют детального изучения). [Иногда эти причинные модели обобщенно обозначают как, соответственно, «телеологическую позицию», «механистическую позицию», «интенциональную позицию» и т. д. [20].

Разумеется, задача детального изучения повседневных социальных знаний и интуитивных «народных социальных теорий» выходит далеко за пределы узких интересов социологов-методологов, рассматривающих обыденное социальное знание как источник систематических и случайных ошибок при измерении мнений и установок, ею может заинтересоваться подлинная социология знания, научная дисциплина, которую еще предстоит создать заново. Кроме того, детальное описание объяснительной полноты или неполноты обыденных социологических теорий потребует от нас труднодостижимого согласия относительно того, что считать

«эталонном» для сравнения, т. е. научными социологическими теориями, обладающими истинным объяснительным потенциалом. Важным становится и поиск ответа на относительно простой вопрос о границах доступного индивидам объяснительного знания об обществе, а также о границах их собственной способности оценивать эти границы. Вопрос о том, насколько индивиды способны давать объяснения социальным процессам и причинным механизмам, является жизненно важным для социологической теории и методологии, поскольку обыденное объяснительное знание об обществе – это тот источник, к которому социологи очень часто обращаются и в массовых опросах, и в глубинных интервью, и в этнографических исследованиях. Даже не обсуждая глубокие эпистемологические и теоретические проблемы, связанные с объяснительными возможностями интуитивных социальных теорий, т. е. «народной социологии» как предмета исследования, подчеркнем, что для науки, претендующей на особого рода связь предлагаемых ею интерпретаций с обыденным социальным знанием, вопрос о степени детализации, глубине и точности этого знания обладает не только теоретической, но и практической значимостью.

Литература

1. Бергер И., Лукман Т. Социальное конструирование реальности / Пер. с англ. Руткевич Е.Д. Москва: Медиум, 1995.
2. Дарвин Ч. Происхождение человека и половой отбор // Ч. Дарвин. Сочинения/ Пер. с англ, под ред. Е.Н.Павловского. Москва: Издательство АН СССР, 1953. Т. 5.
3. Девятко И.Ф. Социологические теории деятельности и практической рациональности. М.: ИС РАН – Аванти Плюс, 2003.
4. Девятко И.Ф. Причинность в обыденном сознании и в социологическом объяснении: контуры нового исследовательского подхода // Социология: методология, методы, математическое моделирование. 2007. № 25. С. 5–21.
5. Девятко И.Ф. О теоретических моделях, объясняющих восприятие справедливости на микро-, мезо- и макроуровнях социальной реальности // Социология: методология, методы, математическое моделирование. 2009. № 29. С. 10–29.
6. Девятко И.Ф. В сторону справедливости: экспериментальное исследование взаимосвязи между дескриптивным обыденным знанием и восприятием дистрибутивной справедливости // Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. Т. XIV. № 2. С. 139–164.
7. Девятко И.Ф. «Мудрость толп» и «мудрость внутри»: сравнительная точность групповых и индивидуальных суждений о дискретных социальных фактах // Социология: Методология, методы, математическое моделирование. 2012. № 34. С. 81–104.
8. Девятко И.Ф. Абрамов Р.Н., Кожанов А.А. О пределах и природе дескриптивного обыденного знания о социальном мире // Социологические исследования. 2010. № 9. С. 3–17.
9. Дюркгейм Э. Мосс М. О некоторых первобытных формах классификации. К исследованию коллективных представлений // М. Мосс. Общества. Обмен. Личность: Труды по социальной антропологии / Пер. с фр. А.Б. Гоффмана. М.: Изд. «Восточная литература» РАН, 1996.
10. Манхейм К. Идеология и утопия // Манхейм К. Диагноз нашего времени / М.: Юрист, 1994.
11. Шюц А. Обыденная и научная интерпретация человеческого действия // А. Шюц. Избранное: Мир, светящийся смыслом. М.: РОС-СПЭН, 2004.
12. Barnes B. and Bloor D. Relativism, rationalism, and the sociology of knowledge // Rationality and relativism. Ed. by S. Lukes and M. Hollis. Cambridge: MIT Press, 1982.
13. Bergesen A.J. Durkheim's theory of mental categories: A review of the evidence // Annual Review of Sociology. 2004. Vol. 30. P. 395–408.

14. *Bloor D.* Knowledge and social imagery. London: Routledge, 1976.
15. *Boltanski L. Thevenot L.* The sociology of critical capacity // European journal of social theory. 1999. Vol. 2. № 3. P. 359–377.
16. *Boudon R.* The moral sense // International sociology. 1997. Yol. 12. № 1. P. 5–24.
17. *Boudon R. Betton E.* Explaining the feelings of justice // Ethical theory and moral practice. 1999. Yol. 2. № 4. P. 365–398.
18. *Camic C., N. Gross, and M. Lamont* (eds.). Social knowledge in the making. Chicago: University of Chicago Press, 2011.
19. *Cicourel A. V* Cognitive sociology: Language and meaning in social interaction. New York: Free Press, 1974.
20. *Dennett D.C.* Three Kinds of Intentional Psychology // D.C. Dennet. The Intentional Stance. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1987.
21. *DiMaggio P.* Why the sociology of culture needs cognitive psychology // Culture in mind: Toward a sociology of culture and cognition. Ed. by K. Cerulo. New York: Routledge, 2002.
22. *Dretske F.* Knowledge and the Flow of Information. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1981.
23. *Ellwood Ch.* The psychology of human society: An introduction to sociological theory. New York: D. Appleton and Company, 1925.
24. *Gamson W.A.* Talking politics. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1992.
25. *Geertz C.* The interpretation of cultures. New York: Basic Books, 1973. Русский перевод: Гирц К. Интерпретация культур / Пер. с англ. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004.
26. *Goldman A.* Knowledge in a social world. Oxford: Oxford University Press, 1999.
27. *Gopnik A., Meltzoff A.N., Kuhl P.K.* The scientist in the crib: minds, brains and how children learn. New York: Morrow, 1999.
28. *Griffits, T.L., Tenenbaum J.B.* Optimal predictions in everyday cognition // Psychological science. 2006. Yol. 17. № 9. P. 767–773.
29. *Keil F.C.* Folkscience: coarse interpretations of a complex reality // Trends in cognitive sciences. 2003. Yol. 7. № 8. P. 368–373.
30. *Kitcher P.* The division of cognitive labor // The Journal of Philosophy. 1990. Yol. 87. № 1. P. 5–22.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.